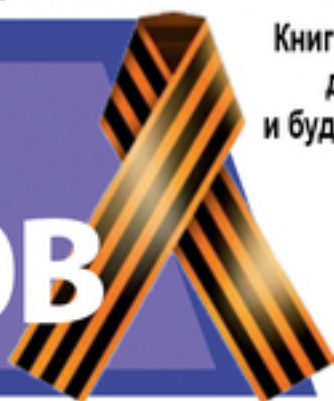


«Петербургский дневник» представляет

**Федор
Абрамов**



Книга Абрамова «О войне и Победе»
долговечна. Она обращена к нам
и будущему, ибо в ней звучат вечные
вопросы — о смысле жизни,
о назначении человека,
об ответственности каждого
из нас за свои устремления,
за свою судьбу...



О войне И ПОБЕДЕ

Писатели на войне, писатели о войне

Писатели на войне, писатели о войне

Федор Абрамов

О войне и победе

«Информационно-издательский центр
Правительства Санкт-Петербурга»

2015

УДК 82
ББК 63.3(2)622

Абрамов Ф. А.

О войне и победе / Ф. А. Абрамов — «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга»,
2015 — (Писатели на войне, писатели о войне)

ISBN 978-5-91498-078-5

Предлагаемая книга впервые включает все художественные и документальные произведения Федора Абрамова о Великой Отечественной войне и Победе, в том числе ранее не публиковавшиеся материалы из рукописного архива писателя.

УДК 82
ББК 63.3(2)622

ISBN 978-5-91498-078-5

© Абрамов Ф. А., 2015
© Информационно-издательский центр
Правительства Санкт-Петербурга, 2015

Содержание

«Какие уроки мы вынесли из войны?»	5
РАССКАЗЫ	8
В сентябре 1941 года	8
Молодой командир	13
Из фронтовой жизни	14
Белая лошадь	15
Бревенчатые мавзолеи	18
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Федор Абрамов О войне и победе

«Какие уроки мы вынесли из войны?»

Предлагаемая книга впервые включает все художественные и документальные материалы Федора Абрамова о Великой Отечественной войне и Победе. Среди них – уникальные дневниковые записи времен войны (1942–1945) и последующих лет (1946–1983), глава из романа «Две зимы и три лета», повести, рассказы, большей частью незавершенные, но не менее значимые, свидетельствующие о многолетних размышлениях писателя о минувшей войне. И наконец, страстное публицистическое слово Абрамова, посвященное героям Отечественной войны, живым и погибшим, рядовым и знаменитым. Везде он убеждал нас: «жить и работать по высшим законам совести и справедливости, с сознанием вечного и неоплатного долга перед погибшими».

Личный опыт Абрамова военных и послевоенных лет был широк и многообразен. Он пережил мужество, героизм и трагедию защитников Ленинграда, блокадную зиму и не менее страшные «беспрерывные сражения баб, подростков и стариков в тылу», где «снаряды не падали, не рвались. Но работа на износ и за себя и за мужиков, ушедших воевать, голод, разутость и раздетость... похоронки... безотцовщина».

Прежде всего писатель считал своим долгом рассказать именно об этой страшной военной и послевоенной трагедии миллионов простых тружеников. О том – знаменитая тетралогия «Братья и сестры», равная по масштабу «Войне и миру» Л. Толстого.

Вспомним подробнее военную биографию Абрамова, которая во многом определила его писательское призвание, многолетние поиски ответов на самые трудные вопросы эпохи: Какие уроки мы вынесли из войны? Почему Победитель плачет? Как жить, что делать, чтобы Россия, народ, человек обрели достойное духовное и материальное существование?

В июне 1941 года с третьего курса филологического факультета ЛГУ ушел Федор Абрамов добровольцем в народное ополчение защищать Ленинград вместе с другими студентами. Он был дважды тяжело ранен (в сентябре и ноябре 1941 года), чудом уцелел на поле боя, в блокадном госпитале и при переправе через Ладогу по Дороге жизни (февраль 1942 г.). Долечивался в тыловых госпиталях. Пережитое нашло отражение в незавершенных рассказах: «В сентябре 1941 года», «Молодой командир», «Белая лошадь», который он хотел посвятить погибшим сокурсникам.

В отпуске по ранению (с 11 апреля по июль 1942 года) он проживал на родном Пинежье, работал учителем литературы в Карпогорской школе. В июле 1942 года снова был призван в армию, служил до 1 февраля 1943 года в 33-м запасном стрелковом полку г. Архангельска. Затем до 20 апреля 1943 года – курсант Военно-пулеметного училища, откуда был призван на службу в Особый отдел НКВД Архангельского военного округа. С 4 августа 1943 года до 29 сентября 1945 года – следователь и старший следователь в Следственном отделении контрразведки «Смерш» Архангельского и Беломорского военного округа. Уволен из органов «Смерш» и демобилизован для завершения высшего образования в октябре 1945 года.

В 2002 году материалы контрразведки «Смерш» были рассекречены и личное дело Абрамова было передано работниками ФСБ Архангельска в Литературно-мемориальный музей Ф. А. Абрамова в Верколе и мне лично. Тогда впервые стали известны подробности работы Абрамова в «Смерш» (см. публикуемую в приложении статью А. Кононова «О службе Ф. А. Абрамова в органах контрразведки»). Из личного дела мы узнали, что о возвращении Абрамова

на учебу в ЛГУ специально ходатайствовал ректор ЛГУ профессор А. А. Вознесенский (см. фотокопию документа).

Между тем долгие годы было немало нареканий и даже обвинений писателя Абрамова за его работу в «Смерш». Новые материалы и главным образом незаконченная автобиографическая повесть «Кто он?» многое проясняют и доказывают, какое мужество и героизм проявил тогда Абрамов, отстаивая справедливость и освобождая невинно заключенного под угрозой собственной гибели. Выдержав все муки и испытания военных лет, Абрамов и в последующие годы оставался мужественным бойцом за правду и справедливость. Он не только нас, но и себя, свои дела заставлял проверять подвигом защитников Отечества. В трудные минуты он обращался к памяти погибших товарищей. О том свидетельствуют дневниковые записи, помещенные в книгу.

Постоянно осмысляя уроки прошлого, уроки войны и Победы, он задавал себе, друзьям и читателям вопрос: а так ли мы живем? В дни Победы он всегда вспоминал погибших друзей, радовался, что остался жив, но и негодовал, возмущался, что не подсчитаны все жертвы войны, не восстановлена в стране справедливость, не достигнута достойная жизнь миллионов.

Размышления Абрамова в дни Победы, нередко горестные, звучат актуально и сегодня:

«Да что же это такое? Да, немцы нас не разбили, а бюрократизм, может быть, и разобьет» (10 мая 1969 г.).

«Но вот извечная трагедия Руси: внешних врагов победили, а своих... А свои победили ее» (5 мая 1979 г.).

«35 лет Победы. Каковы итоги? В магазинах шаром покати – ничегошеньки... В народе шутят: что есть праздничного? Газеты.

Да, год от года все хуже и хуже... Знают ли об этом наверху? А что им знать? У них свой, особый мир. У них все есть. Народу плохо? Да народ быдло. А русский народ вдвойне: все простит. Знают, знают там эту присказку: все вытерпим, все перенесем, лишь бы войны не было.

О, бараны бестолковые. Именно потому-то и будет война, что вы все терпите» (9 мая 1980 г.).

К сожалению, многие произведения Абрамова о войне остались незавершенными. Потому особенно значимы многочисленные заметки, а также публикуемые в приложении варианты к ним. Прочтите их внимательно. В них звучит голос Абрамова – мыслителя, гражданина, озабоченного судьбой России, народа, человека.

Писатель всегда восставал против прямолинейной оценки нашей истории. И в осмыслении войны, народного подвига, он пытался не только воздать должное невиданному героизму, но и осознать те ошибки, просчеты, ту неподготовленность к войне, которые привели к гибели миллионов, к послевоенным бедствиям. Пожалуй, никто так смело не сказал о трагической сути народного подвига, как Абрамов в заметках к повести «Разговор с самим собой».

Осмысляя поведение и судьбу рядового газетчика Анохина, беззаветно преданного Родине и безоглядно выполнявшего все приказы, Абрамов увидел в нем «массовую основу культа». «Выиграли войну благодаря его героизму и благодаря его ограниченности и фанатической вере (наплевать на жизнь) – культ» (22 ноября 1964 г.). Еще глубже осмысление героя в заметке от 13 февраля 1971 года: в фигуре Анохина «его всегда поражали две вещи: сила, преданность и в то же время политическая наивность, бескультурие, которые оборачивались иногда бездушием, автоматизмом и даже слепотой». И не есть ли эти две черты в характере героя, «человека очень типичного для эпохи, ключ к пониманию наших слабых и сильных сторон вообще, наших великих побед на войне и в мирной жизни, так и не менее великих промахов, провалов и бед?»

В заметках к этой же повести Абрамов восставал против полуправды, всегда ненавистной ему, в книгах писателя Сойманова. «Написал о блокаде: наполовину ложь, наполовину

правда... облегченно написано. Хвалили... За то, что нет отчаяния. За то, что светлая блокада. Блокада чуть ли не радость». И там же Абрамов объяснял, почему Сойманов загубил свой талант: «У него не хватило мужества сражаться за истину».

Кстати, именно потому, что о Ленинградской блокаде нельзя было сказать всей правды, Абрамов отказался в конце 1960-х годов от предложения Алеся Адамовича написать совместно «Блокадную книгу». Только тогда Адамович обратился к Д. Гранину.

Трезво оценивал Абрамов и свое поколение: «Какие мы были чистые, возвышенные!.. Но и ограниченные!» И потому, обращаясь к новому поколению, к молодежи, он призывал их быть такими же самоотверженными и увлеченными, но одновременно более мудрыми и трезвыми «в понимании жизни, повседневного бытия». За все послевоенные бедствия Абрамов возлагал вину не только на правителей, чиновников, бюрократов, но и на самих граждан, на рядовых тружеников, которые проявляли героизм в борьбе с фашизмом и не сумели противостоять недальновидным и даже преступным действиям власть имущих, неразумным социально-экономическим реформам, забвению подлинных духовных истин и ценностей.

Писатель был уверен: не только господствующие кланы, но и миллионы людей, их настроения, их требования, их поведение, верования и заблуждения определяют ход истории.

Книга Абрамова «О войне и Победе» долговечна. Она обращена к нам и будущему, ибо в ней звучат вечные вопросы – о смысле жизни, о назначении человека, об ответственности каждого из нас за свои устремления, за свою судьбу и тем самым за все происходящее в стране и в мире.

Абрамов неустанно повторял: возрождение России, путь социальных реформ без нравственного, духовного оздоровления нации «не может дать должных результатов». Две силы должны править миром, убеждал он, – закон и совесть.

Л. Крутикова-Абрамова

РАССКАЗЫ

В сентябре 1941 года

Разговор зашел о войне... Моего приятеля попросили рассказать историю его ранения...

– Руку я потерял совсем глупо. Под действием нелепого, минутного филантропизма. Меня беспрестанно мучит это ребячество, этот глупейший романтический поступок. Если бы еще знать, что та, ради кого я это сделал, была жива! Но ужасно, что я ничего о ней не знаю. Впрочем, вступления излишни. Одно скажу: руку свою я не положил на алтарь нашей победы.

Это было в сентябре 1941 года под Ленинградом. Я тогда командовал взводом. Бойцы у меня были ленинградские студенты. Дрались яростно и смело. В последних числах сентября наш полк был разбит. Помню последний день: бой шел в районе одной реки. Мы уже несколько дней держали оборону. Зеленые цепи немцев, как лава, беспрерывно набегали на нас. 14 атак в день! Все кругом заволочло дымом. Сзади нас горели деревни и леса. Посмотришь туда – стая рыжих зверей рыщет и несется на нас. Солнце от дыма и пыли, казалось, истекало кровью. Мы, как кроты, зарылись в берег реки, мы приросли к земле. Уже два дня у нас не было связи с тылом. Патроны и снаряды кончались. Люди не ели двое суток. Но как только пьяная немецкая сволочь бросалась на нас, мы расстреливали ее у самых окопов, бросались в штыки и опрокидывали. Это был сущий ад...

Самое ужасное – у нас выходили припасы. Был отдан приказ стрелять только с двухсот метров. Работало только три пушки. Остальные молчали. От полка к тому времени осталось человек двести. Остальные пали в этом страшном по напряжению бою.

Они валялись тут же, между нами, искалеченные, грязные, обожженные. Особенно были страшны их лица: распухшие, синие, желтые, с ледяным оскалом мертвого рта!

Смерть товарищей ожесточила нас. Мы решили погибнуть все до единого, но не отступать. А собственно, отступать и некуда было. В два часа дня разведка донесла, что путь к отступлению отрезан.

Замолкла еще одна пушка. К концу дня осталось человек двадцать. Часов в пять меня вызвал комиссар полка. Это был длинный худой человек. Еще недавно его живое лицо, когда он рассказывал студентам о золотом веке Рима, сейчас было каменным. Он стоял в окопе с непокрытой головой. Я впервые заметил, что она у него совсем белая. Он смерил меня твердым взглядом и сказал:

– Через несколько часов нас не будет. Вы должны прорваться через окружение и передать эту записку в штаб дивизии...

Я пытался возражать. Мне было мучительно больно оставлять своих товарищей. Я был недоволен выбором комиссара. Но он с несвойственной ему суровостью сказал:

– Идите, не теряйте времени. – И когда я пошел, он добавил:

– Если останетесь живы, расскажите о нас.

Больше я его не видал.

Меня сковала какая-то болезненная слабость. Ноги подкашивались. Хотя я не скажу, чтобы я тогда трусил. Нет! Просто меня охватывал ужас при мысли о том, что я должен навсегда расстаться с людьми, которые были для меня роднее родного брата, к которым я прирос душой и телом. Страшно было подумать, что через час, а может быть, меньше, падут последние товарищи, что над их телами будет глумиться каннибальская орда немцев. Я видел, что сопротивление наше слабеет. Оставшиеся в живых десятка два бойцов, оглохшие и ослепшие от боя, озверевшие от кровавого чада, делали отчаянные усилия, чтобы отбить наседавших немцев. Почти все они были ранены, кто в руку, кто в ногу, и в промежутках от стрельбы,

захлестнутые болью, корчились и как-то глухо, словно из земли, стонали, скрежетали зубами и отплеывались. Никто не говорил, ибо это было бы расточительством сил. Приговоренные к смерти, они дорого решили отдать свою жизнь. Это зловещее, предсмертное молчание людей в адском грохоте боя – страшная моральная пытка.

С минуту я колебался. Сердце подсказывало – не уходи! Приказ требовал – иди! Приказ взял верх. Я боялся своим неповиновением, хотя вполне понятным, вызвать гнев комиссара.

Я не мог заставить себя проститься с товарищами. Я боялся их глаз. В них, вероятно, плескалась смерть. Они бы пригвоздили меня, я не смог бы вопреки всем доводам рассудка покинуть этих родных смертников. Я засунул за пазуху пару гранат, заткнул за голенище штык от самозарядки и, не оглядываясь, пополз к реке. Вдавливая тело в землю, подтягиваясь на руках, перебегая от воронки к воронке, я дополз до реки. Пот заливал меня, грязь, как панцирь, облепила мое тело. От грохота я совершенно оглох, от огня ослеп. Я вплавь перебрался через реку. Когда вышел на противоположный берег, немцы, вероятно, заметили меня, потому что мины и снаряды буквально изрыли и иссекли все вокруг меня. Мне пришлось залечь в кусты и выжидать. Стало темнеть. Когда я так лежал, мне послышалось, что там, где мои товарищи дрались, два-три голоса запели «Интернационал». Потом я, кажется, слышал крик комиссара: «Ура!» Потом уже ничего нельзя было слышать. Все потонуло в вое и грохоте.

Я снова пополз вперед. Стало совсем темно. Бой сзади затихал. Видимо, последние из наших пали. Не знаю, долго ли я так полз. Своим ориентиром я избрал горящую деревню, которая была от меня в километрах трех-пяти. Это было зловещее зрелище: в крошечной темноте целое море огня. В воздухе летали горящие бревна. По-видимому, ее подожгли немцы, и бой сейчас шел за нее. Я решил пробраться туда в надежде найти штаб дивизии. Не знаю, долго ли я полз. Когда стемнело, я встал и пошел во весь рост. Нервная нагрузка была столь велика, что я еще не вполне давал отчет в происшедшем. Голодный, измученный, будто выплюнутый из пасти самого сатаны, я шел, как лунатик. Отчаянное безразличие овладело мною. Путь мой был невероятно опасен. Каждую секунду я мог взлететь на воздух. Потому что мины там были зарыты всюду. Но я тогда об этом не думал. Одна мысль сверлила меня: «Идти, идти... Только вперед».

Когда я переваливал через один холмик, мне послышалось, будто в стороне от меня кто-то стонет. Я остановился. Да, это был стон – слабый, почти детский, приглушенный. «Наверно, раненый», – подумал я и, вынув гранату из-за пазухи, осторожно пополз на стон. Я не ошибся. Когда я был метрах в пяти от раненого, где-то в стороне вспыхнула ракета, и я увидел маленького человека в красноармейской форме. Он лежал навзничь, как распятый, без сознания. Это была девушка, маленькая, тоненькая. В темноте нельзя было разглядеть лица. Рядом с ней валялась санитарная сумка. Значит, она – сестра. Я отыскал ее руку и стал искать пульс. Рука была маленькая, теплая. Она просто таяла в моих руках. Под моими пальцами слабо забила жила.

Я нашел ранение. Левый рукав разбух от крови. В санитарной сумке не было ни одного бинта. Что делать? Я расстегнул ремень, сбросил с себя фуфайку и кинжалом вырезал весь перед своей нательной рубашки, потом разрезал рукав ее гимнастерки и кое-как перевязал ее руку. Она все слабо стонала. Но рана была небольшая. Вероятно, ее ранило осколком мины и контузило разрывной волной.

Положение мое было трудное. Я не мог бросить раненую сестру, но и не знал, что с ней делать. Нести ее на себе? Но куда? А вдруг я попаду в лапы к немцам? Что тогда будет с ней? Но оставлять тоже нельзя. В конце концов я взвалил ее на себя и пошел вперед. Удивительное дело – идти мне стало легче, как это ни парадоксально. Не знаю, сколько нес ее – может, километр, может, два.

Горящая деревня впереди стала вырисовываться четче. Там было светло как днем. На улицах можно было различить маленькие фигурки бегающих людей. В общем хаосе воя и гро-

хотя я выделил звуки нашего и немецкого пулеметов. Значит, там дрались наши. Я уже стал было размышлять о том, с какой стороны деревни наши, с какой немцы, как вдруг почувствовал, что шагнул в пустоту, и в ту же секунду свалился в какую-то яму. Я упал очень больно. Но боль во мне заглушил тяжелый стон девушки. Я ее придавил. Когда я встал и поднял на руки девушку, я увидел, что яма была окопом. Внезапно начался бурный дождь. Дальше идти вдвоем было опасно. Можно было попасть к немцам. Моментально возникло решение: найти землянку, которая непременно должна быть возле всякого окопа, оставить девушку, а самому разведать путь и еще затемно возвратиться сюда, чтобы вынести девушку.

Не теряя ни минуты, по-прежнему с девушкой на руках я стал исследовать окоп. Окоп оказался длиной метров в пятьдесят, и в конце его, как я и рассчитывал, была землянка. Я ощупью открыл двери и почти ползком влез в нее. Землянка была пустая. Это была обыкновенная фронтовая, наспех вырытая землянка, вероятно, двумя приятелями. Потолок лежал совсем низко, так что нельзя было распрямиться. Но было довольно сухо. Осторожно и бережно я положил девушку на пол, потом скинул фуфайку и подостлал под нее. Хотя девушка была маленькая и легкая, хотя я почти все время шел во весь рост, но усталость и напряжение последней недели взяли свое. Я, как пьяный, свалился и тут же почувствовал, что смертельно устал.

Несколько минут я лежал как мертвец, не имея сил ни подняться, ни о чем-либо думать. Потом страшным усилием воли я возвратил себя к действительности. Надо было идти, разыскивать наших. Девушка тихо стонала. Мысль о том, что с ней может что-нибудь случиться без меня, парализовала мое решение.

Стояла все та же сплошная темень, как-то уродливо просачивались к нам звуки боя. Глухо донеслось русское «ура» – значит, наши пошли в атаку. Нет, надо идти. Девушке нужна помощь. В то же время ужас охватывал меня при мысли, что она останется здесь одна.

Но я отодрал себя от этих мыслей и почти голый по пояс, в одной разорванной рубашке, пополз к выходу. Я умышленно не прощался с ней, так как боялся поддаться слабодушию. За несколько часов она стала для меня невероятно дорогой, близкой. Но только я стал отворять дверцы, как раздался оглушительный треск, земля заходила подо мной. Глаза ослепило огнем, и меня швырнуло назад. Я потерял сознание. Я не знаю и сейчас точно, что тогда случилось. Но думаю, что немцы, смяв остатки нашего батальона и продолжая двигаться, для верности расчищали путь себе артиллерией. Вероятно, один из снарядов разорвался около землянки, и меня отбросило волной.

Когда я пришел в себя, первым делом пополз к девушке. Она не стонала. Мне до тошноты стало страшно: вдруг она умерла? Но она была жива и все еще без сознания. Я ощупал руку. Кровь больше не сочилась. Стало немного легче. Еще не понимая, что случилось, я добрался до дверцы и нажал на нее. Она не поддавалась. Я навалился изо всех сил, но тщетно – она будто вмерзла. Тогда я стал в нее бить ногами – бесполезно. Тут страшная догадка просверлила мой мозг: нас засыпало. Вероятно, где-то совсем рядом разорвался снаряд, захлестнуло дверцу и засыпало землей. Понемногу я стал понимать наше положение. Мы замурованы в могиле и рано ли, поздно ли задохнемся от недостатка воздуха. Землянка была вырыта в стенке окопа, и только маленькая дверца соединяла ее с внешним миром.

Но не умирать же этой нелепой смертью. Мой мозг стал лихорадочно работать, и я нашел выход. Хотя я не знал, как была толста дверца землянки и как толст пласт земли, заваливший ее, я решил прорубить в дверце дыру и прорыть нору наружу. Чтобы чувствовать себя свободней, сбросил сапоги и клочья рубахи и немедленно приступил к делу. Но при первых же ударах кинжала убедился, что это бесполезная работа. Надо, по меньшей мере, рубить топором, чтобы реализовать мое бредовое решение. К тому же брало сомнение: а что если за дверцей набито несколько метров сплошной земли? Тогда бесполезны все усилия.

В то же время что-то внутреннее настойчиво обнадеживало иллюзиями и о тонкости дверцы, и о незначительности земляного слоя. А тут еще в углу раздался стон девушки. Она скрипела, как молоденькая березка в бурю. Потом мне почудился шепот. Я подполз к ней, нагнулся. Она бредила. Рот ее так и пылал жаром. Она звала какого-то Колю. Это больно ущипнуло меня за сердце, но только на мгновение. Потом какая-то мутная и теплая волна залила все внутри. Этот лепет раненой девушки смягчил мое отчаяние. Захотелось до боли, до слез, чтобы и мое имя слетало с чьих-нибудь губ. И все всплыло вдруг: и деревня, и синий платочек, и девичьи глаза, и все в этом роде. И безумная ненависть, иступленное бешенство овладело мною.

Клял ли я виновников этого кровавого ада, именуемого войной, – не помню. Наверно, да. Помню только, что болезненная слабость прошла, и я с остервенением принялся за работу. Сначала рубил и отковыривал дерево, где попало потом, ощупывая пальцами, стал вырезывать борозды. Мало-помалу мне удалось сосредоточиться на этом, казалось бы, безнадежном деле. С упорством маньяка я долбил и резал, долбил и резал, как крыса, въедался в дерево. Через некоторое время я мог нащупать небольшое углубление. Пот заливал глаза, ноги затекали, так как приходилось сидеть согнувшись, спина деревенела, руки немели. Не знаю, долго ли я так работал. Конечно, это был нечеловеческий труд. Руки были все изрезаны, искромсаны, ногти оборваны. Когда я отирал пот с лица, кровь с рук стекала в рот, меня тошнило. Мучительно хотелось пить. Внутри все жгло.

Ритм моей работы затихал, отчаяние снова брало меня. И вдруг кинжал ударился в песок. Дерево в одном месте проткнуто! Еще столько же усилий, и я прорублю наконец дыру, достаточную, чтобы пролезло мое тело. С новым ожесточением я начал рубить и кромсать дерево. Прошло, вероятно, много времени, когда я смог просунуть в дыру голову. Вдруг мне послышалось: «Воды, воды!» Это просила пить девушка. То, что она пришла в себя, меня бесконечно обрадовало. Но воды не было. Пока я был поглощен работой, я еще мог подавлять в себе жажду. Но теперь почувствовал, что и мне смертельно хочется пить.

Я добрался до нее. Видимо, она почувствовала мое присутствие и лихорадочно прошептала: «Я ничего не вижу. Я слеpla». «Да нет же, нет, – стал я успокаивать ее, – здесь просто темно...» После этого она снова впала в бред, но даже и в бреду не переставала просить воды. Ее муки, ее жажда заглушили во мне мои собственные боли. Впрочем, нет, каждый слабый крик ее – «воды» – впивался в меня ножом. Эта крошечная ночь, эта глухая земляная дыра спяли нас намертво. Ее муки, ее страдания стали моими муками, моими страданиями.

Жара и удушье стали невыносимыми. Голова пылала. Казалось, кто-то невидимый сдавливал ее железными ручищами. Вотвот лопнет. Это – следствие недостатка воздуха. Я снова принялся долбить дверцу. Но девушка не переставала просить пить. Внезапно у меня вспыхнула невероятно чудовищная мысль: взрезать руку и напоить ее кровью. Я не рассуждал тогда, принесет ли это пользу. Чем более я убеждал себя в нелепости этой затеи, отдающей дешевой романтикой, тем более хотелось ее сделать. И я сделал.

Снова приполз к ней, перевязал ремешком руку выше локтя, поднял над ее лицом, распорол ножом. Это был какой-то бред. Чтобы не зареветь от боли, я заткнул рот тряпкой. И все же, когда нож впился в руку, я закорчился от боли. Тем не менее я был рад: из руки полилось жидкое (не важно, что кровь). Но раз жидкое – можно пить. Когда кровь упала в ее рот, она стала причмокивать, как грудной ребенок. А потом начала плевать, ее стало тошнить. Я понял, что мое самозаклание было излишним. Кое-как удалось остановить кровь, перевязать руку. Убитый неудачей, обессиленный, я снова принялся за работу.

В конце концов мне удалось вырубить необходимую дыру. Я выбивался из последних сил. Повязка съехала, руки и тело были в крови. Казалось, я плавал в крови. Скорее инстинктивно, чем сознательно, я стал прорывать нору в земле. Да, инстинктивно, ибо мысль о необходимости продолжать работу уже перестала быть мыслью, а стала инстинктивным стимулом.

Дышать становилось трудно, воздух выходил. Это была какая-то зловонная парильня, будто тебя варят в котле. От захлебывающегося стога и бреда девушки можно было сойти с ума. Работа осложнялась еще и тем, что отрываемый песок приходилось выгребать в землянку, на что уходил двойной труд. Я знал, что останавливаться нельзя, потому что это означало бы смерть. Остановившись, я уже не смог бы начать снова. Ужас голодной и подземельной смерти перегнал всю энергию тела в руки, и, хотя они совершенно онемели, я рыл и рыл.

Вдруг я услышал пальбу над головой. Значит, близко поверхность! Действительно, в ту же секунду на мою голову рухнула подкопанная земля, и я, как мешок, вывалился из дыры. Потом, когда ко мне вернулась способность соображать, мне послышалось, что кто-то говорит. После мучительного напряжения мой слух уловил чужие слова, немецкие.

Итак, окоп был занят немцами. Это было ужасно! То, что минуту назад казалось спасением, было нашей смертью. Последние минуты, проведенные мною в землянке, помню совсем смутно. Это открытие убило меня, только вспыхнувшая надежда на спасение была выжжена безысходным трагизмом положения. Но хлынувший сверху воздух, влажный, полевой, немного освежил меня. Тем не менее у меня начались галлюцинации. Кошмар, которому я так долго сопротивлялся, наконец вошел в силу.

Я не помню, что было далее. Вероятно, проблески сознания все же появлялись. Я ощутил себя ползущим по земле с ножом в зубах. Левая рука вышла из повиновения и волоклась, как плеть. Пал дождь. Окоп пылал от вспышек пулеметов. Наши атаковали его. Со всех сторон несло мощное «ура». Тогда мне стало понятно, почему в зубах у меня нож. Наверно, в один из моментов прояснения я решил вылезть из норы и броситься с ножом на немцев. По крайней мере, это была почетная смерть.

А теперь, теперь в голове установилась удивительная четкость мысли, и невероятная слабость, сонливая, без боли, разлилась по всему телу. Медленно, как щенок, я полз по брустверу окопа к ближнему пулемету. Должно быть, это была интересная картинка: с одной рукой, голый по пояс, полубезумный человек ползет на пулемет.

Я уже был метрах в десяти, уже различал лица пулеметчиков, как что-то тяжелое хлопнуло по голове. Я потерял сознание. А очнулся в госпитале.

Молодой командир

Молодого студента назначили командиром роты разведчиков. Рота восприняла это назначение враждебно. Сибирякиохотники, недавние уголовники, опытные, выдавшие виды ребята и мужики, решили сразу же проучить желторотого мальчишку. А командир точно был молод: на верхней губе его только-только начинал пробиваться золотистый волос. Глаза совсем мальчишеские синие-синие, румянец во всю щеку, как у девушки.

Однажды заходит командир в землянку, слышит, смеются над ним. Хорошо же. Он вызывает самого, как ему казалось, зловредного, говорит:

– Пойдешь сейчас со мной в разведку». Пошли. Командир среди дня идет во весь рост. Пули сыплются. Дальше ползти невозможно, не то что идти. Солдату кажется – мальчишка с ума сошел. Умоляет переждать.

– Иди, – отвечает командир, – не то пристрелю на месте.

Так они перешли линию. Все разузнали, что надо. Пора было возвращаться домой. Но самолюбивый командир, обладавший незаурядной волей, решил навсегда покончить с насмешками над собой. Он решил уничтожить дзот. В темноте подкрались к выходу. Командир заколол часового. Без шума не обошлось. Выбежал немец, бросился на нашего солдата. Тому бы и смерть. Но выручил командир. Закидав гранатами дзот, они вернулись в роту.

Когда товарищи, рассчитывая услышать от солдата новые насмешки над мальчишкой-командиром, попросили рассказать его про разведку, солдат, ни слова не говоря, устало снял с головы шапку: голова его была седая.

С тех пор никто не смеялся над молодым командиром, а бойцы про себя называли его «синеглазым орлом».

Из фронтовой жизни

Рассказ земляка

В Архангельске из служащих (директоров, бухгалтеров, начальников лесопунктов и т. п.) сформировали минометную батарею. Несколько месяцев направляли то в Онегу, то в Архангельск. Оружия никакого нет. Наконец, привезли один или два миномета. Кажется, месяц учили наводке. А стрелять – боже упаси. Нельзя портить снаряды. Экономия строжайшая. Так батарею, не сделавшую ни одного выстрела, и повезли на Мурманское направление.

Результаты, как и следовало ожидать, оказались плачевными. Наступающий полк запросил огня – целый час пытались выстрелить, но так и не сумели. А затем – отбой: не надо, полк разбит. Потом привезли батарею на другой участок. Винтовок всего шестнадцать, не у каждого винтовка. Подвели к озеру и приказали: занимайте островок.

А островок в озере – самая настоящая мишень для самолетов. Заняли остров. Саша говорит командиру:

– Товарищ командир, неладно мы сюда зашли. Если налетят самолеты, от нас мокрого места не останется.

– Сам вижу, товарищ Абрамов, но – приказ.

Самолеты противника, к счастью, не налетели. Отвели.

Другой раз морской пехоте приказали наступать по замерзшему озеру. Почему бы не по берегу опушкой леса? От бушлатов зачернело все озеро – финны не стреляют. Потом, когда до передовой осталось метров двести, начали бить минометы – сразу отрезали моряков от своих. Потом снаряды все ближе, ближе. И началось такое крошево – из 800 человек только 10 и выбрались. Остальные – кто потонул, кто замерз.

И таких бестолковых приказаний было не одно. Самый последний дурак не стал бы наступать там, где наступали наши командиры.

После этого Саша стал каждый раз высказывать свои соображения командиру.

Как-то налетели финны на госпиталь – всех вырезали. Подняли батальон – пошли догонять. Командиры, в полушубках, брюхатые, обычно лежавшие в землянке, взмокли.

– Как, пареньки? Разопрели?

– Разве догонишь финнов?

Ходили-ходили, решили: взводу засесть в доме на лыжне и ждать. Вечером командир поставил охрану: два человека на чердаке у слуховых окон.

– Товарищ командир, – говорит Саша, – это надо подумать. Финны ночью дом подожгут – всех спялят. Надо охрану подальше выставлять.

Слава богу, – командир послушался, выставили охранение, да и финны не пришли.

Но не каждый командир терпит советы солдата. Один раз Сашу едва не расстреляли за советы.

В декабре 1942 года батарею отправили на Сталинградское направление. Три месяца ехали – приехали к шапочному разбору.

А первый раз выстрелили из миномета только на Донце. Тут и научились попадать в цель. Умный солдат на войне – нелегкое дело, нелегкая судьба.

1958

Белая лошадь

1

– Холодно.

– Погоди, вот немец трахнет – тепло будет. Семен ничего не ответил, только клацнул зубами.

В утреннем мутном рассвете мне было видно его лицо... На него было жалко смотреть. Да я и сам замерз как собака.

Хуже всего – это лежать в секрете осенью, у речки, с которой тянет сыростью, под кустом. А надежд на то, что мы сразу же отогреемся, как только нас сменят, у нас никаких. Мы не решались разводять костер даже днем, и все наши расчеты были связаны с тем, что днем проглянет солнце. Был сентябрь месяц, бабье лето, и днем, если солнце, мы согревались.

Мы, наше отделение студентов-филологов, охраняли минное поле – большой, покрытый сочной травой луг, примыкавший к речке.

Передовая была где-то впереди, за речкой, и оттуда естественно шли отступавшие – группами, одиночками, и наша задача была предупреждать своих.

А если кто-нибудь все же попадет на минное поле? Ночью, во время тумана? Что мы должны делать? Насчет этого никаких инструкций мы не получили. Предполагалось, видно, что наши бойцы не могут угодить на свои мины. А если все же угодят? Тут мы были беспомощны. У нас не было карты минного поля (опять секрет?), мы даже на свой пост у реки под кустом, под которым мы лежали сейчас с Рогинским, ходили берегом речки. Берег был глинистый, влажный, из грунта стекало. И мы к посту добирались всегда с мокрыми ногами, даже в сухую погоду. Днем было еще терпимо, а ночью, и особенно под утро, мы буквально околевали.

Одно пока утешало: никто не наварался на нас. Мы были в стороне. И мне до сих пор непонятно, зачем оно вообще было сделано. Шоссейная дорога проходила сбоку, проселочная дорога через наш хутор шла с другой стороны – зачем идти пехоте или танкам на этот луг? Впрочем, в те первые месяцы войны многое казалось непонятным на фронте. Винтовок не было. Разве мы думали, что безоружные...

Мы жили на хуторе уже вторую неделю. Жили в сарае на сеновале, потому что единственный домик был сожжен еще до нашего прихода. Мы страшно мерзли, как я уже сказал, и питались главным образом огородишком: картошкой, репой, морковкой.

Но со всем этим можно было еще мириться. Страшнее всего была неизвестность. Угнетала неизвестность.

Мы уже три дня не имели связи со своей ротой, оставшейся где-то за картофелем на опушке леса, и там уже третий день горела неубранная рожь. Где наши? Может быть, ушли? Может, отступили? И мы в окружении?

Кругом были пожары. Рвались снаряды, шел бой. И мы сидели у этого минного поля и ждали команды, когда нас снимут.

– По-моему, наше время на исходе, – заговорил опять Рогинский. – Ну-ка взгляни, сколько там накачало.

Рогинский просил, чтобы я взглянул на часы, которые у меня были на руке. В нашем отделении были одни-единственные часы на девять человек. (Это ведь теперь каждый школьник с часами, а тогда часы – роскошь.) Эти часы мы, в общем, реквизировали у их хозяина, Вовки, сына профессора, и все, кто отправлялся на пост (в наряд), брал их с собой.

Я уже давно, как только засветлело и стало видно циферблат, раза три, а то и больше, взглядывал на часы. Нам еще оставалось не меньше получаса – мы стояли и ночью по четыре

часа. Но я сделал вид, что мне на время наплевать – я могу постоять еще и не столько. Рогинский, давно уже смирившийся с подчиненным положением, с тем, что я тут первый человек, а не он, протяжно вздохнул, а потом сказал:

– После войны я обязательно заведу себе валенки с теплыми пуховыми носками. И еще шубу. Я такую шубу видел один раз.

– Ничего себе – идеал, романтика... – я презрительно фыркнул. – Все мы герои до первого испытания.

2

История моих отношений с Рогинским. На кой черт я взял его? От меня зависело. Я мог не брать...

3

Заморозок. Луговина, как солью присыпана. Справа бабахало. Я начал вставать – кончилось наше время.

– Смотри, смотри! Что это? – шепотом воскликнул Рогинский.

Меня изумил этот восторженный шепот, так не вяжущийся с нынешним Рогинским, и я, кажется, сперва взглянул не туда, куда он указывал, а на Рогинского.

Он лежал, вытянув шею, и во все глаза, как на чудо, смотрел на луг. И там действительно было чудо: по лугу бежала белая лошадь! Не знаю, может, в том виновата внезапность ее появления, неожиданность, может быть, виновата война, которая сделала нас тупыми, а может быть, солнце виновато, которое вышло изза леса. Но мне показалось, что я еще ничего подобного не видал в своей жизни.

Лошадь бежала серединой луга – легкая, грациозная, грива и хвост распущены, тонкие ноги не хватают земли. Румяная заря. Я не успел подумать, откуда эта лошадь. С шоссе. Отбилась. А может быть, это местная, хозяйская. Как раздался оглушительный взрыв. Когда земля осела, мы увидели лошадь лежащей на лугу. Она била ногами. Грязная. Подкова сверкала. Потом лошадь поднялась на колени передних ног и жалобно заржала.

– Надо ей помочь, – сказал Рогинский и начал вставать.

– Идиот! Как ей поможешь! Может, к ней побежишь?

Я был в полном отчаянии. Я не знал, что делать. А между тем лошадь продолжала жалобно ржать, словно она призывала нас на помощь.

– Стреляй! – закричал от сарая помкомвзвода. У сарая, привлеченные взрывом, стояли все ребята нашего отделения. Помкомвзвода, как и другие, выбежал. Нервы не выдержали и у него.

Я щелкнул затвором. И вдруг Рогинский, этот жалкий ублюдок, вскочил на ноги и бросился на луг.

– Назад, назад! – закричал я. – Стой, убью. – И то же примерно закричали ребята от сарая. А Рогинский бежал по полю, прямо по минному полю, и башмаки бухали, как пушки.

Что я пережил, передумал за эти несколько секунд. Это невозможно передать словом. Об этом можно только догадываться. Я, конечно, ругал Рогинского самыми последними словами: идиот! Кретин безмозглый, психопат, интеллигент сопливый. Не выдержал.

Но я и восхищался им. Где-то в подсознании. Безусловно. Это ведь какую надо иметь отвагу, чтобы броситься на минное поле ради лошади на верную смерть. Если бы это был человек, я бы еще понимал...

Ребята смотрели, застыв у сарая, и я смотрел. А потом я побежал вслед за ним. Не от храбрости, нет. От дыбом поднявшейся во мне гордости, честолюбия. Я знал, что если я не

кинусь вслед за ним, я никогда не прощу этого себе. Никогда. Мне не жить с этим. Да и ребята мне не простят, если что-нибудь случится с Рогинским.

Судьба на этот раз сжалась над нами. Мы, наверно, не сделали и десяти-пятнадцати шагов по минному полю, как раздался страшный взрыв. Рогинский упал на землю, а я, бежавший сзади него, упал на него.

Подорвалась лошадь. Как я представляю теперь, лошадь сначала подорвалась на противопехотной мине, и ей перебило ногу, а затем, катаясь по лугу с перебитой ногой, она накатилась на противотанковую мину. Во всяком случае на лугу от нее осталась только одна белая нога с подковой – остальное все разнесло, и мы потом дня три, пока нас не выбили из хутора немцы, смотрели на эту белую ногу, как березовое полено, лежавшую за пять метров от взрыва на зеленом лугу.

Я не помню, как мы вышли с минного поля. Я помню только, что вдруг Рогинский, когда мы уже были на прибрежной кромке и к нам бежали, тяжело дыша, ребята, начал, как мне показалось, валиться набок.

– Что с тобой? – закричал я от испуга.

– Чего-то пятке неловко. Я, по-моему, опять сбил правую ногу. Ведь сколько раз говорил себе, что нельзя бегать.

И тогда я ударил Рогинского прямо по лицу. Кулаком. За все, за то, что он заставил меня столько пережить, за его идиотскую храбрость.

Он погиб через неделю. Но мне больше запомнилось, как он спасал белую лошадь. Эта белая лошадь, словно на крыльях плывущая по лугу, как самая ослепительная красота. И Рогинский, позабыв про все страхи и боли, бросился спасать красоту. Он не мог поступить иначе. Он мог погибнуть, но красота должна жить. Красоту он не мог оставить без защиты, ибо он был великий артист.

Бревенчатые мавзолеи

Новгородчина. Восточная сторона... Сколько раз за эти дни проходил я через заброшенные, словно вымершие деревни, сколько видел пустых домов с давно остывшими печами! И кажется, уже начал привыкать и к запустению, и к задичанию, но эта деревня меня взволновала: на углах домов я увидел небольшие красные звездочки, вырезанные из жести, в память о погибших на войне. Обычай, ныне довольно распространенный на сельской Руси.

От единственной старушонки, которая жила в этой деревне (на лето из города приехала), я узнал, что поставил звезды на домах местный учитель со школьниками, и мне захотелось познакомиться с ним. Но учитель жил в соседней деревне, до которой, по словам старухи, было километра четыре, а на дворе уже надвигался вечер, и я решил отложить встречу с учителем до завтра.

При непривычном свете давно забытой керосиновой лампешки мы с хозяйкой попили чаю, поговорили о том о сем, а потом перед сном я вышел глотнуть свежего воздуха.

Вечер был дивный. На голубом небе дружно высыпали звезды, да такие яркие, спелые. И была луна слева, так что вся улица была закрещена чернильными тенями.

Путаясь в паутине этих теней, я прошел через всю деревню, вышел к старой обвалившейся изгороди и опять потянулся глазами к небу.

Звезды стали еще ярче. И я смотрел-смотрел на их алмазное мерцание и вдруг вспомнил притчу из далекого детства – о том, что после смерти людей души их поселяются на звездах, каждая душа на особой звезде.

Но, боже, как холодно, как одиноко и тоскливо на этих звездах, подумал я. И почему бы душам погибших на войне из этой деревни не поселиться в собственных домах, за которые они отдали жизнь?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.